



А. Л. ВОЛЫНСКИЙ

«Фетишизм мелочей». В. В. Розанов

I

Я прочел с интересом и вниманием два тома «Опавших листьев» В. В. Розанова и небольшую книжку его под названием «Уединенное». Произведения эти отмечены печатью интимности и скорее похожи на писательский дневник, чем на произведения литературные в установленном смысле этого понятия. Автор заносил на бумагу отрывки своих идей и мимолетные настроения в условиях более или менее случайных, не гоняясь за точностью выражений и даже, может быть, не стараясь сказать о предметах и людях полновесную правду. Тем не менее, книги эти в целом, если проследить их индивидуальные особенности, характерны для всей публицистической деятельности Розанова. Он отразился в них необыкновенно рельефно со всей путаницей своих психологических тем и маниакальной убежденностью, что отпадением от культа величавого к фетишизму мелочей им совершен настоящий перелом в самом центре современной литературы. «Мне многое пришло на ум, — пишет Розанов, — чего раньше никому не приходило, в том числе и Ницше, и Леонтьеву. По сложности и количеству мыслей я считаю себя первым». Иллюзии автора на этот счет принимают иногда грандиозные размеры. Минутами ему представляется с необыкновенной ясностью, что он говорит «какую-то абсолютную правду», что некоторые его мысли преломляют в себе принципы жизни и притом под тем самым «углом наклона», под которым их можно наблюдать в стихии не только космической, но и божественной — «точь-в-точь», без штрихов отступления в ту или иную сторону. Не стесняемый при этом соображениями приличия и такта по отношению к самому себе, Розанов в другом месте прямо заявляет: «каждая моя строка есть священное писа-

ние, и каждая моя мысль есть священная мысль, и каждое мое слово есть священное слово». Конечно, выражения тут подобраны не в школьном их значении. Но очевидно также и то, что автор подчеркивает не патетичность своих личных убеждений и верований, а нечто куда более значительное и важное и для него самого, и для других. Если в самом деле философствование Розанова отражает в себе «угол наклонения» вещей в процессах истории и в самой природе, то каждая его мысль несомненно священна. Прочие все литераторы наших дней имеют, таким образом, только честь «современничать» В. В. Розанову. Но здесь уже мы стоим лицом к лицу с бредом пигмея, не видящего истинного уровня своих умственных сил и писательского таланта.

Характеристики больших и малых величин в литературе отличаются у Розанова необыкновенной развязностью тона. Можно критиковать беспощадно. Хлестать кнутом сатиры направо и налево. Рубить топором под самые корни явлений, признаваемых вредными или ничтожными с определенной точки зрения. Но идейная резкость писателя не должна иметь ничего общего со словесным озорством хулигана. Все-таки в ней должна быть какая-то своя галантность по отношению к противнику. Но полемика Розанова грубее всего, с чем мне приходилось встречаться на страницах газет и журналов, не исключая памятников критической литературы шестидесятых годов XIX века. Доводов и мыслей при этом почти никаких. Изучения и знания ужасно мало. Ни тени подкупающей горячности, какая всегда чувствовалась, например, в полемике Писарева и Чернышевского. В тирадах и фразах Чернышевского, даже самых неумеренных по своему характеру, никогда не переставала звучать струна благородного мужества. Казацкая нагайка Писарева тоже хлестала с удалством и азартом красивого увлечения. Но ничего этого мы не находим в полемических приемах Розанова. За кошмаром словесной хулы ощущается даже нечистая какая-то психология автора, растрепанная гадость мотивов скорее волевого, чем идейного характера. Писателю ненавистно прямое и ровное. Все честное и стильно законченное. Оттого-то с особенной злобой Розанов накидывается на литераторов, так или иначе прикосновенным к протестантским движениям русской истории. Он плещет в них брызгами своего гаденького порицания и смеха. Так, Герцен для него только пустозвон. Он «напустил целую реку фраз в Россию, воображая, что это политика и история». Ничего другого о бравом гладиаторе русской гражданственности. Согласимся, однако, на минуту, что политическое гладиаторство Герцена действительно чепуха. Но как было не соблюсти хоть тени уважения

к литературному таланту, полному горений, полному энтузиазма! Далее, Михайловский рисуется Розанову чем-то вроде слуги из «лакейской комнаты» русской оппозиции. «Политическая свобода и гражданское достоинство, — замечает при этом Розанов, — есть именно у консерваторов, а у оппозиции есть только лакейская озлобленность и мука о своем ужасном положении». Однако, если взять оппозицию хотя бы только со времени декабристов до наших дней, историческое пространство одного только столетия, то все же нельзя будет не остановиться перед нею с чувством изумления. Сделано совсем немало. Среди варварских нравов все-таки заложены основы новой жизни. Прямо подвиг совершен обществом на протяжении короткого срока. Подвиг тем более замечательный, тем более вызывающий сочувствие, что приходилось бороться на два фронта, с инерцией масс почти так же пламенно, как и с притязаниями могущественных классов государства. И, тем не менее, Россия все же вышла на большую дорогу с перспективами впереди. Так неужели же во всем этом движении от крепостничества к элементам правового быта оппозиция не показала своих богатырских сил? Но это-то богатство в практической области, несущее в себе напряжение воли целого народа, особенно ненавистно Розанову. Оно ведет к постановке задач политических и моральных, по характеру своему являющихся прямым отрицанием обывательского фетишизма мелочей.

II

О Щедрина автор «Уединенного» выражается следующим образом: «Этот ругающийся вице-губернатор — отвратительное явление». При этом Розанов тут же замечает, что произведений Щедрина он совсем не знает, что «Губернских очерков» он и в глаза не видел и что и в «Истории одного города» он ознакомился только с первыми тремя страницами. Но в таком случае чего же, собственно, стоит строгий суд Розанова над сатирой Щедрина, при всех своих недостатках и грубостях насыщенной пониманием русского быта до последних его мелочей? Правда, за нею не чувствуется религиозная экзотичность в духе Гоголя. Но минутами гнев ее горит огнем и льется из души глубокой и скорбящей. Не любя писаний Щедрина, даже совсем не читанных, Розанов, однако, не прельстился также и сатирой Гоголя. Искусство этого писателя он считает «пустым» и «бессмысленным» мастерством. «Я не решусь удержаться, — пишет он, — выгово-

рить последнее слово: идиот». Голова у Гоголя была «глупая» и «пошлая». Но такой же пошлой головой оказалась на суде литературного озорника и голова Л. Н. Толстого. Даже Л. Н. Толстой «прожил, собственно, глубоко пошлую жизнь». «Это ему и на ум никогда не приходило». Конечно, и придти не могло великому писателю земли русской, потому что, если верить Розанову, «Толстой был гениален, но не умен». Все его философские и религиозные искания, — продолжает кощунственно резонерствовать на эту тему Розанов, — не что иное, как «туда и сюда тульского барина, которому хорошо жилось, которого много славили и который ни о чем истинно не болел». Счастливыми исключениями среди лакеев, пустозвонов, гениальных и негениальных дураков русской литературы являются только Шперк, Рцы и священник Флоренский!

Все это пишется, конечно, с претензией на исключительную чуткость в определении писательских характеров. Но, читая и даже перечитывая от изумления соответственные страницы в произведениях Розанова, никакой глубины понимания в них не находишь. Ноздревская разнузданность — и ничего другого. Притом разнузданность человека, очевидно потерявшего всякую самокритику, вообразившего в самом деле, что можно серьезно сопоставлять разные благоглупости о святой плоти с бриллиантами творчества в литературе, собственное маленькое умишко судорожно сумбурного, хаотически растрепанного писателя — с мудрым духом таких людей, как Гоголь и Л. Н. Толстой.

Но, ругнув Толстого и Гоголя и размазав черт знает какую чепуху по поводу других явлений литературного характера, Розанов устраивает уже настоящую потасовку деятелям европейской мысли, тоже не выдерживающим строгой критики, очевидно, с точки зрения фетишизма мелочей. Так, Дарвин должен был бы считать для себя честью, — пишет он, — происходить от такой умной обезьяны, как шимпанзе! «Он мог бы произойти и от более мелкой, от более позитивной породы». С Спенсером спорить не стоит совсем. Но есть «желание вцепиться в его аккуратные бакенбарды». Что же касается таких величин в области религиозной историографии, как Штраус и Ренан, то их следовало бы просто «выдрать за уши». Стесняться не стоит. «Пришли свиньи и изрыли мордами огород». Значит, надобно расправиться с ними по обычаю отечественных мордобитий. Свиснуть по физиономиям без всякой пощады. Но что такое, в конце концов, Дарвин, Спенсер и Ренан! Можно не церемониться даже с

репутацией деятеля, имя которого вписано в легенду Ветхого Завета. Великого Ездру, священнослужителя и знатока божественных законов, приветствовал в почтительнейших выражениях персидский царь. Иосиф Флавий рассказывает о нем, лоя сквозь даль веков величественную фигуру вавилонского книжника, с оттенком почти благоговения¹. Но варвару ничего не стоит дохнуть грубой душонкой и на это чудеснейшее имя в истории богоносного народа. «Этому Ездру я утер бы, — пишет Розанов, — нос костромским платком». Сексуалист с карамазовской отравой в крови не может простить великому человеку прошлого, что тот расторг браки иудеев с иноплеменными женщинами. Узнав о том, что дух Израиля начинает стираться среди хаоса падающей законности, Ездра разодрал на себе одежды и пал ниц, обливаясь слезами полного отчаяния. Но если бы не этот человек, не его мудрая чуткость к задачам исторического момента, вообще если бы не его теократически-созидательная работа почти в самом начале слепого периода, от иудейства с Иерусалимом во главе не осталось бы и следа. Оно было бы смыто с лица земли потоком дальнейшей истории, как было в свое время не только разрушено, но и распылено абсолютно северное десятиколенное царство Самарии могущественным Ашуром. Именно Ездру народ еврейский обязан своим спасением и формулировкой своего духа навсегда. А из теократического духа иудаизма, поддержанного вавилонским книжником, вылилась вся последующая эволюция идей в Палестине с рождением новых верований почти для всего человечества.

В своих писаниях Розанов не раз упоминает о том, что он давно уже оставил чтение книг и что вообще чужие мысли его интересуют мало. Но отсюда тучи ошибок в его рассуждениях, лишаящих иногда смысла даже то, что подается в них разумного и толкового. Очень может быть, впрочем, что при чрезмерной своей субъективности и склонности отдаваться целиком игре эмоциональных настроений каждой данной минуты, писатель и не в силах совсем справиться ни с какой серьезной задачей, связанной с изучением всяческих материалов, иногда очень сложных и запутанных по своему содержанию. Куда легче положиться на собственную интуицию и решить вопрос по вдохновению. Но, однако, истинно талантливые люди этим путем в своих работах почти никогда не идут. В них особенно поразительно, напротив того, стремление знать всегда много, глядеть и назад и вперед с открытыми глазами, приходиться в интимнейшее соприкосновение с мыслями и нравами других народов. Не возьмет человек в свой кругозор ничего недостоверного. Поднимет к глазам и рас-

смотрит каждую мелочь. Осознает ее со всех сторон. Точно ошибка поспешного умозаключения ложится пятном на весь процесс работы и грязнит его для внутреннего глаза. Должен прибавить только, что черта эта особенно характерна для современных поколений и ритмически согласована у них с общим культурным строем нашей эпохи. Интерес к знанию вырос необычайно. Все хочется не только ощутить, но тут же непременно постичь и понять всесторонне. Претворить в мысль не одни лишь конкретные факты из волны окружающих событий, но и то, что смутно бьется внутри, пульсирует где-то в самой глубине души, под всеми ее наслоениями. При этом какая любовь к точным выражениям! Простота честной правды должна быть на первом плане. Без химер пылкой фантазии факты и их значение сами собой вырастут перед нами в полном своем масштабе, как только их коснется своим сиянием наше внутреннее разумение.

III

Для иллюстрации моей мысли с отрицательной стороны хочу остановиться на одном примере. Беру его почти наудачу из трех книжек Розанова. Но для характеристики его литературной работы пример этот приобретает особенный интерес. Автор передает свой разговор с интеллигентной московской курсисткой еврейского происхождения о микве. Миква — это бассейн воды для ритуальных очищений. Сначала девушка давала ответы на вопросы Розанова, но потом вдруг замолчала. Свое молчание она объяснила писателю тем, что хотя миква вещь святая, но название это само по себе «неприлично» и «вслух или при других никогда не произносится». Таким образом, у евреев, в отличие от христиан, неприличное и святое могут «совмещаться! совпадать!! быть одним!!!» — восклицает истерически по этому поводу Розанов. Открытие огромного значения, бросающее свет на характер древних мистерий других народов, тоже, по всем видимостям, преобразившим сексуальные неприличия в святую жизнь плоти. Затем Розанов от этого общего философского рассуждения переходит к деталям устройства самой миквы. Миква должна иметь в глубину только полтора аршина — не больше. За погружением в воду наблюдают «синагогальные члены», а у женщин — старухи. На поверхности воды не должно быть видно «кончиков волос». «Вода не приносится снаружи, не наливается в бассейн, а выступает из почвы, есть почвенная вода. Но почвенная вода — это вода колодца. Таким образом, спуститься в микву всегда значит спуститься

на дно колодца». Для этого, естественно, требуется очень длинная узкая лестница. Спускающиеся, от двух до трех человек, «разезают широко ноги». Поднимающиеся же чуть-чуть закидывают голову кверху. Если это женщины, то перед глазами их в течение десяти минут открывается зрелище «закругленных животов и гладко выстриженных (ритуал) до голизны стыдливых частей». По окончании омовения, когда в микве не остается никого, старик-еврей «подходит последний к неглубокому ящичку с водою и, прилепив к его краям восковые свечи, зажигает их все. Это как бы знак того, что миква свята».

Все это сплошной бред Розанова с отвратительным оттенком садизма. Философия выдуманная. Само устройство миквы, как она описана у него, несомненно случайное. В действительности же каждый бассейн воды совершенно законная миква. Нужно только соблюдение двух следующих условий. Во-первых, вода его должна быть текучая: речная, пещерная, дождевая, колодезная, вообще живая. Если сделано где-нибудь искусственное приспособление с притоком и оттоком воды, то получится настоящая миква, пригодная для ритуальных очищений как мужчины, так и женщины. Во-вторых, вода миквы непременно должна иметь определенный объем: сорок сат. Это необходимо для того, чтобы тело, обмываясь и очищаясь, не загрязняло бассейн. Вот и все, что требуется для устройства миквы по еврейскому ритуалу. Устройство же миквы в колодце, на какой бы то ни было глубине земли, с множеством ступеней той или иной ширины, не предприсывается решительно нигде. Эти мелочи находятся вне ритуала и обусловлены исключительно особенностями данного места. Розанов видел в Фридберге² средневековую микву случайной конструкции. В благоустроенных же современных городах это обыкновенный бассейн, где еврейские женщины совершают свое очищение сплошь и рядом одновременно с плавающими в нем христианскими дамами. Кошер! Никакого трефа! Точно так же совершенно фантастично и требование полуторааршинной глубины для миквы. Можно выкупаться в любой реке, в море или в океане. По духу очистительного ритуала такое омовение даже предпочтительнее всякого иного. Наконец, стрижка до голизны — по ритуалу, как подчеркивает Розанов, — стыдливых частей — совершеннейшая выдумка сексуалиста. У еврейских женщин обряд этот не практиковался никогда. Он известен только у мусульман. Далее — никаких восковых свечей. К ритуалу они не имеют во всяком случае отношения и обрядовым законом не предписываются. Ни восковых, ни стеариновых свечей в миквах вообще не полагается. Но если в бассейне тем-

но, то непременно кто-нибудь зажжет тот или иной светильник. Старики или старухи не произносят при этом никаких заклинательных формул. Все гораздо проще и прозаичнее, если хотите, без налета мистери.

Затем, в слове миква нет ничего для еврейского уха неприличного. Это слово обыкновенное и даже популярное в разговоре. Имеется целый трактат в Талмуде, посвященный вопросу о ритуальных омовениях и озаглавленный им³. Оно является даже эвфемистическим выражением для понятия очищения тела после месячных кровей у женщин. Вот почему барышни и дамы остерегаются произносить его без крайней надобности. В нем нет, во всяком случае, ничего конфузного для обихода самой еврейской жизни. Тем более, что религия требует омовения живой водою как для мужчин, так и для женщин по самым различным поводам. Так, по древним законам, относящимся ко времени существования храма, если человек прикоснулся к чему-нибудь для него запретному, он считался нечистым до заката солнца. С закатом он должен был вымыть все бывшее на нем платье и очиститься от головы до пят погружением в микву.

Таким образом, сочетание неприличного и святого в одном понятии на почве еврейской религии не больше, как фантазматическая Розанова на эту тему. А расписанное им с фаллическим экстазом зрелище «широко разеваемых ног» и «закругленных животов» абсолютно не входит в горизонт рационально мудрого и сексуально чистого иудаизма. В культе его можно уловить стихию страсти. Но страсть эта льется из здорового волевого инстинкта целого народа без примеси стихии психологической, рыхло-болезненной и зыбкой по самому существу своему. Ни малейшего оттенка сластолюбия в трактовке вопросов сексуального характера. Кошер! Нет крика звериного сластолюбия. Нет истерики дьявольских упоений. Благородно и целесообразно все от начала и до конца. Естественно насквозь. Но естественное на высоту культа не возводится у евреев. Это лишь атмосфера для осуществления иных и более высоких задач религии, пластический обряд, но не святыня веры в истинном значении этих слов.

Между прочим, один ученый иудей, бывший казенный раввин, готовившийся с детства к карьере духовного раввина, с которым я вместе проверил розановский рассказ о микве, не полагаясь на собственные свои познания в этом вопросе, сделал мне одно интересное во всех отношениях указание. Существуют две картины Рембрандта, по-видимому, изображающие еврейский ритуал. Одна из них находится в Ренне, а другая — в Гааге. Обе изображают Вирсавию⁴ перед погружением ее в бассейн живой воды, хотя

ошибочные под этими картинами подписи указывают на другой сюжет. Нужно знать для понимания темы Рембрандта, что перед ритуалом женщины должны счистить с своего тела всякую грязь до последней пылинки. Прочищают уши и ноздри. Полощут рот. Прочищают кожу между пальцами рук и ног. Освобождают гребешком голову от перхоти. Омывают половые части. Извлекают грязь из-под ногтей, а самые ногти на руках и на ногах обрезают елико возможно ниже. Последнюю операцию для аккуратности выполняет специалистка. Только после этой процедуры женщина входит в бассейн и погружается в воду целиком всем телом от головы до ног. Не только никаких волосиков не должно быть видно над водой, но абсолютно ничего.

Этот именно момент предварительного очищения и изображает Рембрандт. Старая женщина опустила к ногам Вирсавии и ножиком срезает у нее ногти. Источник живой воды тут же, на расстоянии одного шага. На гаагской картине, кроме педоманикюрши, другая женщина тщательно расчесывает и прочищает чудесные длинные волосы Вирсавии. Но если содержание двух картин разгадано верно их пронизательным критиком, какое должно было у Рембрандта быть детальное знание еврейства с интимными тонкостями его быта и процедурами ритуального характера! Все подчеркивает у художника идею чистоты без каких-либо отношений к тайнодействиям экстатической мистики нового образца. Женщина пришла выкупаться и омыться в источнике живой воды после месячных кровей, чтобы потом продолжить свою прерванную на время физиологически опрятную семейную жизнь. Округло красивое лицо ее выражает спокойствие. Снимаемый туалет прост и скромн. От всего ландшафта с его кустами, деревьями и скалой на заднем плане веет прохладой. Точно сама природа сбросила с себя пыльный покров и приготовилась к соучастию в ритуале. Несмотря на густую светотень гаагской картины, общее впечатление от нее такое же, как и от картины в Ренне: опрятности и строгости обряда, имеющего в своем основании мотив реальный и простой. Эротомания отсутствует совершенно. Ни тени ее. Морально, чисто и благородно. Не рыхло. Не расшатанно. Крепко и цельно. Психология не рассыпалась и не разбрызгалась среди диалектических внутренних противоречий, но вся собралась в пучок. И как все это вместе далеко от видений «широко разеваемых ног» и «закругленных животов», вообще от гадости и пакости патологического бреда на высокие темы религии. Воображение играет среди стихий испытанного веками культа. Не выцвечивается ради кощунственных сенсаций противоречащими друг другу идеями. Бес-

пыльно. Красота звездных высот. Надежно и вечно. От картины же Розанова хочется бежать. Не только все неверно в ней. Надувано и сфабриковано маниаком сексуальности. Особенно ужасно то именно, что от его рассказа, как вообще и от других писаний Розанова по вопросам пола, веет психологичностью личных переживаний, грубых и пошлых насквозь, но самим автором принимаемых чуть ли не за откровения свыше.

IV

Тут я останавлиюсь на вопросе огромной важности, хотя развернуть его более или менее широко в рамках газетной статьи по случайному поводу нет никакой возможности. Отмечу поэтому только общие черты его в коротких словах. В разных местах своих сочинений В. В. Розанов старается выдвинуть вперед и подчеркнуть, что главная нить его рассуждений идет всегда от момента психологического, а не логически идейного. Автор считает себя борцом за пафосы личных настроений, а не за определенную систему с выдержанным горизонтом понятий. Вообще душа человека — вот главный постулат его учения. Он хотел бы от всех «психологичности», «ввинченности мысли в душу человеческую», «рассыпчатости» и «разрыхленности». «На образ мыслей нисколько не хотелось бы влиять. Я сам убеждения менял, как перчатки». Писателю представляется иногда среди чадных его самовосхищений, что «напором своей психологичности» он может в самом деле одолеть всю литературу и направить ее к фетишизму мелочей. Тогда все решительно будут, как Рцы, Шперк и священник Флоренский! «Какое бы счастье, — восклицает сам Розанов в сладком предощущении ожидаемого перелома — перелома от идейности к психологичности. — Прошли бы эти болваны!» Под болванами разумеются при этом все те, кто поднимается духом к неподвижным светилам внутренней тверди, а затем ищет им каких-либо соответствий на земле. Но этот именно порыв к цельной идеальности особенно ненавистен душе Розанова. Он неизбежно ломает мелкие величины. Переводя идеи в сферу волевых инстинктов человека, в механизм его характера, он сближает и уродняет между собою типы людей, столь несходные во всех отношениях, если смотреть на них со стороны психологической. Вот в каком пункте для каждой индивидуальности в процессах ее развития естественно открывается путь к универсальности. Мирное становится личным мотивом жизни. Человек горит по-новому. Стираются неверные зыбкие психологии, живущие интересами минутного характера. Но рождаются тяготения к высокому и ве-

ликому. Без сомнения, если бы могла осуществиться в реальности идея «всемирной психологичности» в духе Розанова, составляющая предмет мечтаний для него, жизнь стала бы повсюду атеистической насквозь. Исчезло бы все героическое. Не было бы никакой Голгофы. Разрушилась бы прямота стремлений, делающая великими народы на их практических путях. Исчезли бы без следа вихри реформаций. Но тогда самое существование людей стало бы чепухой. Дьявол хохотал бы в восторге. Но Бог смыл бы эту гадость и пошлость новым потоком навсегда.

Отграничение душевного от духовного, психологического от идейного составляет одну из величественных особенностей языка и философии Нового Завета. Апостол Иаков помещает понятия земного, душевного и дьявольского в один ряд. Психологические натуры и натуры демонические — это одно и то же по своему реалистическому рисунку. Далее апостол Иуда называет людей душевных людьми, обособляющимися постоянно от других. В самом деле, именно психологические натуры, всегда занятые собою, «ввинчивающиеся» мыслью только в собственное свое я, оказываются изолированными от живущих интересами и тяготениями общего характера. Такие люди не имеют духа. Апостол Павел рассыпал на эту тему в своих посланиях угли пламенного красноречия. По словам его, человек душевный не может принять даяний духа. Он считает их безумием, не в силах познать и понять их значения. Но самую грань, поставленную между представлением о душе и представлением о духе, апостол относит к созданиям тончайшей и божественной мудрости, «острее всякого меча обоюдоострого»⁵. Наконец, Иоанн Богослов. Для него Бог и Дух являются идеями эквивалентными во всех отношениях. Евангелист требует даже ненависти к душе «в мире сем», чтобы сохранить ее для жизни вечной. «Любящий душу свою погубит ее»⁶.

Таким образом, не всемирная одушевленность является путеводной звездой евангельских и апостольских писаний Нового Завета. Это было бы царством дьявольских обособлений и разделений без конца. А всемирная и окончательная одухотворенность, уроднившая между собою народы, связавшая их в единое и цельное человечество. Но если присмотреться к процессам истории, оглянуться широко на прошлое людей, то ведь надобно сказать, что к этому-то, слава Богу, все и идет несомненно. Идет постоянно через жертвенное приношение Личного на алтарь Безличного. Через катастрофы великих революций. Даже через несчастья взаимной резни между отдельными племенами на перевалах к новым культурным вехам.

